

**ПУТЬ  
К ВЕЛИКОЙ  
ЦЕЛИ**

Sylvia Nasar

**GRAND  
PURSUIT**

The Story of  
Economic Genius

Сильвия Назар

# ПУТЬ К ВЕЛИКОЙ ЦЕЛИ

История одной  
экономической идеи

*Перевод с английского*  
Андрея Сатунина и Натальи Шаховой



издательство **АСТ**

Москва

УДК 330.8  
ББК 65.02  
Н19

Художественное оформление и макет АНДРЕЯ БОНДАРЕНКО

**Назар, Сильвия**  
Н19      Путь к великой цели : история одной экономической идеи / Сильвия Назар; пер. с английского АНДРЕЯ САТУНИНА и НАТАЛЬИ ШАХОВОЙ. — Москва : АСТ : CORPUS, 2013. — 704 с., [32] с. ил.

ISBN 978-5-17-080173-2

Автор этой книги — американский журналист Сильвия Назар, написавшая прославленную биографию математика Джона Нэша, по которой был снят фильм “Игры разума”. “Великая цель” из названия книги — это процветание максимально возможного количества обитателей земного шара. “Путь к великой цели” начинается в середине XIX века, века королевы Виктории и ее всемогущей империи. Но уже очень скоро мир охватывает одна катастрофическая война, а за ней и другая. Правительства по всему миру — от коммунистических до самых что ни на есть капиталистических стран — играют все большую роль в экономической жизни. Экономические теории на глазах становятся повседневной практикой, а некогда кабинетные ученые — Джон Мейнард Кейнс, Ирвинг Фишер, Йозеф Шумпетер — отчаянно спорят между собой и заставляют политиков считаться со своим мнением. “Путь к великой цели” — захватывающая панорама политической и интеллектуальной жизни людей, стран и континентов, от викторианской Англии до современной Америки и Индии, от Карла Маркса и Чарльза Диккенса до Милтона Фридмана и Амартии Сена.

УДК 330.8  
ББК 65.02

ISBN 978-5-17-080173-2

- © Sylvia Nasar, 2011
- © А. Сатунин, Н. Шахова, перевод на русский язык, 2013
- © А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2013
- © ООО “Издательство АСТ”, 2013
- Издательство CORPUS ®

# Оглавление

Предисловие. .... 7

Вступление. **Девять десятых человечества.** .... 13

## АКТ ПЕРВЫЙ. **НАДЕЖДА**

Пролог. **Мистер Сентиментальный против Скруджа.** .... 21

### **ГЛАВА I**

Все только зарождается. Энгельс и Маркс в эпоху чудес. .... 31

### **ГЛАВА II**

Нельзя ли обойтись без пролетариата? Святой покровитель Маршалла. .... 79

### **ГЛАВА III**

Профессия мисс Поттер. Узбб и государство-попечитель. .... 134

### **ГЛАВА IV**

Золотой крест. Фишер и денежная иллюзия. .... 195

### **ГЛАВА V**

Созидательное разрушение. Шумпетер и экономическая эволюция. ... 236

## АКТ ВТОРОЙ. **СТРАХ**

Пролог. **Война миров.** .... 269

### **ГЛАВА VI**

Последние дни человечества. Шумпетер в Вене. .... 282

<b>ГЛАВА VII</b>	
Европа умирает. Кейнс в Версале . . . . .	317
<b>ГЛАВА VIII</b>	
Безрадостный переулоч. Шумпетер и Хайек в Вене . . . . .	352
<b>ГЛАВА IX</b>	
Нематериальные механизмы разума. Кейнс и Фишер в 1920-е годы . .	376
<b>ГЛАВА X</b>	
Проблемы с магнето. Кейнс и Фишер в годы Великой депрессии. . . .	409
<b>ГЛАВА XI</b>	
Эксперименты. Уэбб и Робинсон в 1930-х. . . . .	451
<b>ГЛАВА XII</b>	
Война экономистов. Кейнс и Фридман в министерствах финансов . . .	471
<b>ГЛАВА XIII</b>	
Изгнание. Шумпетер и Хайек во время Второй мировой войны. . . . .	497

## АКТ ТРЕТИЙ. УВЕРЕННОСТЬ

Пролог. Ничего страшного . . . . .	509
<b>ГЛАВА XIV</b>	
Прошлое и будущее. Кейнс в Бреттон-Вудсе . . . . .	519
<b>ГЛАВА XV</b>	
Дорога от рабства. Хайек и “немецкое чудо” . . . . .	531
<b>ГЛАВА XVI</b>	
Инструменты управления. Самуэльсон едет в Вашингтон . . . . .	544
<b>ГЛАВА XVII</b>	
Великая иллюзия. Робинсон в Москве и Пекине. . . . .	568
<b>ГЛАВА XVIII</b>	
Свидание с судьбой. Сен в Калькутте и в Кембридже . . . . .	594
<b>Эпилог. Воображая будущее . . . . .</b>	<b>615</b>
Благодарности. . . . .	619
Ссылки на источники . . . . .	623
Указатель . . . . .	691
Источники фотографий . . . . .	719

## Предисловие

**В** XXI веке в мире стремительно развивается любовь к “малым формам”. Даже высоколобые интеллектуалы всё больше времени уделяют *Twitter*, в котором размер сообщения ограничен 140 символами, а записи в блоге длиной больше, чем размер экрана, кажутся занудными. Сильвия Назар, экономист по образованию и профессор журналистики Колумбийского университета, рискнула, написав историю экономической науки прошлого и позапрошлого веков в старомодном ключе — в виде большого тома, разбитого на крупные главы и содержащего мелкие подробности жизни многочисленных персонажей. Такую книгу мог бы написать, заинтересовавшись историей экономической мысли, Карамзин или Солженицын. Впрочем, поклонникам блогов и форумов нужно только вчитаться — книга быстро становится захватывающей и читается легко. И это при том, что начинается она в самых непривлекательных обстоятельствах, охватывает период мировых катастроф и завершается в момент, когда перед экономистами стояли ничуть не менее сложные задачи, чем за сто лет до этого.

Сильвия Назар впервые прославилась биографией великого экономиста Джона Нэша, нобелевского лауреата 1994 года. Документальная книга “*A Beautiful Mind*” стала бестселлером, а снятый по книге художественный фильм “Игры разума”

посмотрели миллионы. Рассказывая историю выдающегося учёного, больного шизофренией, автору удалось переплести биографические детали и медицинские подробности — то, что интересно “широкой публике” — с подробным изложением интеллектуальной истории открытий Нэша — и в экономической теории, и в чистой математике. В своей второй книге, “Путь к великой цели”, Назар ставит себе ещё более амбициозную задачу — рассказать про жизнь великих экономистов XIX и XX столетий, европейских, американских и даже, уже в наше время, индийских, поставив их работы в единый контекст. Герои Назар, люди разного происхождения — от аристократического до самого простого — движимы разными мотивами, но их вклад в экономическую науку неуклонно смещает общество в сторону большего достатка и защищенности. Даже те учёные, которых вовсе не интересовали темы социальной справедливости и для которых экономическая наука была сродни инженерии или биомедицине (и включала столько же математических формул и статистического анализа данных), невольно способствуют общему прогрессу.

Для человека, учившегося, как я, в школе в советское время, книга Назар — возможность узнать интеллектуальную историю последних двух веков в неискаженном виде. Маркс оказывается не надмирным гением, а влиятельным экономистом из длинного ряда влиятельных экономистов, работы которых были когда-то актуальны, но потом устарели. Тем более интересно узнать подробности его личной жизни — человек, именем которого в XX веке обосновывалась власть рабочих во многих странах, включая нашу, никогда не был на заводе, да и особенно не интересовался реальной жизнью рабочих. Сказалось ли отсутствие интереса к тому, что происходит на самом деле, на качестве экономического анализа и практических выводах? Что ж, история знает случаи — и в книге они описаны — когда учёный в своей работе никак не опирается на личный опыт и, тем не менее, сила его интеллекта позволяет понять, как устроен реальный мир и даже изменить его к лучшему.



Тем читателям Назар, у которых советского опыта нет, ещё лучше. Не нужно ничего исправлять в представлении о мире, можно просто открывать интеллектуальную историю двух веков (точнее, одного столетия, с 1850 по 1950 год, которое покрывает “Путь к великой цели”), смотреть, как она следует за грандиозными потрясениями этой эпохи — двумя мировыми войнами и Великой депрессией. Центры экономической мысли — Лондон, Вена, американский Кембридж — основные остановки её путешествия; интеллектуальные гиганты своих эпох — Маршалл и Фишер, Шумпетер и Кейнс, Хайек и Фридман — основные персонажи.

Выпустить том-историю экономической мысли в начале второго десятилетия XXI века было рискованным предприятием по ещё одной причине. После пяти кризисных лет на профессиональных экономистов смотрят не с восхищением и уважением, а, скорее, с подозрением. Обвинять экономистов в том, что они не смогли предотвратить кризис — это примерно то же самое, что обвинять врачей в том, что, несмотря на лечение, больные продолжают умирать. И тем не менее репутация целой профессии пошатнулась. Книга Назар, погружая читателя в обстоятельства куда более тяжёлые, чем нынешние, и показывая, как сложно было сделать очередной шаг — даже если этот шаг был только мыслью, записанной на бумаге, — восстанавливает репутацию экономистов. Только тот, кто понимает, что значило быть бедным сто пятьдесят лет назад, как плохо понимали экономические механизмы лучшие умы человечества и какая долгая дорога пройдена с тех пор, может заинтересоваться вкладом интеллектуалов в экономическое развитие. Но, заинтересовавшись, он увидит, как многое уже было сделано на пути к великой цели.

Константин Сонин,  
*профессор, проректор Высшей школы экономики*



*Моим родителям*



## Вступление

### ДЕВЯТЬ ДЕСЯТЫХ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Народы мира имеют весьма ограниченный опыт благоденствия. Почти все они на всем протяжении истории были крайне бедны.

Джон Кеннет Гэльрейт,  
*Общество изобилия*, 1958<sup>1</sup>

К несчастью, даже с учетом немногих благодатей, коих чрезмерно мало, девять десятых человечества влачат жалкое существование.

Эдмунд Берк,  
*Защита естественного общества*, 1756<sup>2</sup>

Мысль о том, что человечество способно перевернуть экономическую реальность, начав управлять материальными обстоятельствами, а не подчиняться им, появилась настолько недавно, что Джейн Остин такое и в голову не приходило.

Представим себе георгианское изобилие, окружавшее автора “Гордости и предубеждения”. Будучи гражданкой страны, богатство которой “вызывало восхищение, изумление и, возможно, зависть всего мира”, она жила в эпоху побед над предрассудками, невежеством и тиранией, которую мы называем эпохой Просвещения<sup>3</sup>. Она родилась в семье, принадлежавшей к средним слоям английского общества, в те времена,

когда “средние” противопоставлялись обычным и типичным. По сравнению с мистером Беннетом из “Гордости и предубеждения” или даже несчастными Дэшвудами из романа “Разум и чувства”<sup>4</sup> семья Остинов была весьма стеснена в средствах. Тем не менее их годовой доход в размере 210 фунтов превышал доходы 95% английских семей того времени<sup>5</sup>. Несмотря на обычную для низших слоев “вульгарную экономию”, которой были вынуждены придерживаться Остины, чтобы избежать “лишений, несчастий и разорения”<sup>6</sup>, они владели недвижимостью, располагали свободным временем, могли выбирать профессию, учиться в школе, покупать книги, писчую бумагу, газеты. Ни Джейн, ни ее сестре Кассандре не было нужды идти в гувернантки — страшная судьба, которая ждала Джейн, соперницу Эммы\*, — или выходить замуж без любви.

Разрыв между Остинами и так называемыми низшими слоями был, по словам биографа, “полным и несомненным”<sup>7</sup>. Философ Эдмунд Берк сетовал на судьбу шахтеров, которые “редко видят солнечный свет, погребены в недрах земли, выполняя тяжелую и унылую работу без малейшей надежды на освобождение, едят самую грубую и плохую пищу; подрывая всем этим свое здоровье и проживая недолгую жизнь”<sup>8</sup>. Однако по уровню жизни даже эти “несчастные” считались относительно удачливыми.

*Типичный* англичанин был батраком<sup>9</sup>. Согласно экономическому историку Грегори Кларку, уровень жизни батрака был немногим лучше, чем у римского раба. Его жилище состояло из одной темной комнаты, в которой он жил вместе с женой, детьми и домашним скотом. Единственным источником тепла служил дымный огонь очага. У него был один комплект одежды. Он путешествовал лишь туда, куда мог пойти пешком. Единственными развлечениями для него были секс и браконьерство. Врачебная помощь была ему недоступна. Чаще всего

\* Эмма и Джейн — персонажи романа “Эмма” Джейн Остин. (Здесь и далее — прим. перев.)

он был неграмотен. Его дети пасли коров или отпугивали ворон, пока не подрастали настолько, чтобы быть отданными “в услужение”.

В хорошие времена он ел только самую грубую пищу — пшеничные и ячменные каши и хлеб. Даже картофель был недоступной роскошью (“Может, картошка и хороша для господ, но растить ее жутко дорого”, — сказал как-то матери Остин один из селян<sup>10</sup>). По оценке Кларка, британский батрак в среднем ежедневно потреблял всего лишь 1500 калорий — на треть меньше, чем охотники-собиратели из современных племен, живущих в Новой Гвинее или на Амазонке<sup>11</sup>. На фоне хронического недоедания резкие скачки цен на хлеб ставили его на грань голодной смерти. На графиках смертности в XVIII веке четко выделяются неурожайные годы и периоды инфляции, связанные с войнами<sup>12</sup>. И все же типичный англичанин жил лучше типичного немца или француза, и Берк мог заверить своих английских читателей, что “рабство, которое мы видим у себя дома — несмотря на все его низости и ужасы, — не идет ни в какое сравнение с тем, что творится в этом отношении в остальном мире”<sup>13</sup>.

Всюду царил смирение. Торговля и промышленная революция привели к росту британского богатства, как и предсказывал шотландский философ Адам Смит в 1776 году в книге “Богатство народов”. Тем не менее даже самым просвещенным наблюдателям приходилось признать, что это не отменяет приговора Бога, согласно которому в массе своей человечество обречено на нищету и “изнурительный труд... на протяжении всей своей жизни”. Жизненное положение предопределялось высшими силами или природой. Когда умирала прислуга, ей отдавали должное за то, что она “выполняла свои обязанности на том жизненном поприще, для которого была предназначена милостью Божией”<sup>14</sup>. Патрик Кохун, реформатор георгианской эпохи, был вынужден предварить свое радикальное предложение об организации обучения детей бедняков за счет государства следующей оговоркой: он не предлагает “обучать

их так, чтобы их развитие превысило уровень, соответствующий предназначенному им в обществе месту”, иначе “те, кому суждено заниматься тяжелым трудом и занимать низшее положение”, будут чувствовать себя ущемленными<sup>15</sup>.

В мире Джейн Остин каждый знал свое место и не подвергал его сомнению.

Всего через пятьдесят лет после ее смерти этот мир в корне изменился. И дело было не просто в “существенном росте богатства, роскоши и изысканности”<sup>16</sup> или в беспрецедентном улучшении обстоятельств тех, чье положение казалось безнадежным. Статистик конца викторианской эпохи Роберт Гиффен счел необходимым напомнить своим слушателям, что во времена Остин зарплаты были вдвое ниже и что “пятьдесят лет назад все трудящиеся королевства периодически оказывались на грани голодной смерти”<sup>17</sup>. Казалось, то, что веками было незыблемым, обрело подвижность. Уже не было сомнений, что условия жизни могут меняться. Вопрос сводился лишь к тому, насколько они изменятся, как быстро и какой ценой. Становилось ясно, что изменения происходят не случайно, не являются следствием удачного стечения обстоятельств, а соответствуют намерениям, воле и знаниям людей.

Понятие о том, что человек есть порождение обстоятельств и что эти обстоятельства не являются predetermined, неизменными и абсолютно неподвластными человеческому вмешательству, — одно из величайших открытий всех времен. Оно поставило под сомнение тезис о том, что человечество полностью подчинено Богу и природе. Из него следовало, что при наличии новых средств человечество готово само распорядиться своей судьбой. Благодаря ему на смену пессимизму и смирению пришли бодрость и жизненная активность. До 1870 года экономическая наука в основном была посвящена тому, чего нельзя достичь. После 1870-го — тому, чего достичь можно.



Как писал отец современной экономики Альфред Маршалл, “основной движущей силой большинства экономических исследований является стремление посадить человека в седло”. Экономические возможности — взамен духовных, политических и военных — захватили воображение масс. Мыслители викторианской эпохи были очарованы экономикой, и многие из них стремились достичь серьезных результатов в этой области. Вдохновленные успехами в естественных науках, они принялись разрабатывать инструмент для исследования того “искусного и мощного социального механизма”, который порождает не просто небывалое материальное благополучие, но богатство новых возможностей. В конечном итоге новая экономика преобразовала жизнь всех людей на планете.

Книга, которую вы держите в руках, посвящена не столько развитию экономической мысли вообще, сколько истории одной идеи, родившейся в золотой век до Первой мировой войны, подвергшейся жестоким испытаниям в виде двух мировых войн, возникновения тоталитарных государств и Великой депрессии, а затем возродившейся вновь во второй золотой век, последовавший за Второй мировой войной.

Альфред Маршалл называл современную экономику “Органом” — словом, которым древние греки обозначали не набор истин, а “аналитический механизм” для их выявления, и как следует из смысла термина, это означало, что этот механизм никогда не будет закончен или доведен до совершенства, а всегда будет нуждаться в улучшении, перестройке и обновлении. Его ученик Джон Мейнард Кейнс называл экономику “мыслительным аппаратом”, который, как и любая другая наука, необходим для анализа современного мира и извлечения максимума из предоставляемых им возможностей.

В качестве действующих лиц своей пьесы я выбрала тех, кто сыграл основную роль в превращении экономики в инструмент управления обстоятельствами. Я выбрала тех

обладателей “холодных голов и горячих сердец”<sup>18</sup>, кто помог построить “механизм” Маршалла и модернизировать “аппарат” Кейнса. Я выбрала персонажей, чей темперамент, опыт и талант заставляли их в соответствии с их временем и местом ставить новые вопросы и получать новые ответы. Я выбрала тех, кто помог протянуть ниточку повествования из Лондона 1840-х в Калькутту начала XXI века. Я попыталась показать, что каждый из них видел, глядя на окружающий мир, и понять, что интересовало и вдохновляло их, что ими двигало. Все эти мыслители искали интеллектуальные средства для решения того, что Кейнс называл “политической проблемой человечества: как объединить три вещи — экономическую эффективность, социальную справедливость и индивидуальную свободу”<sup>19</sup>.

Кейнс, как объяснял его первый биограф Рой Харрод, был многогранной личностью и считал художников, писателей, хореографов и композиторов, которых он любил и которыми восхищался, “опекунами цивилизации”. Экономистам вроде себя самого он отводил более скромную, но не менее существенную роль “опекунов не цивилизации, а возможности ее существования”<sup>20</sup>.

В значительной степени благодаря именно таким опекунам мысль о том, что девять десятых человечества могут освободиться от многовекового гнета судьбы, возникла в викторианскую эпоху в Лондоне. Оттуда, как круги по воде, эта концепция стала распространяться, преобразуя на своем пути общества по всему земному шару.

Она распространяется до сих пор.

АКТ ПЕРВЫЙ  
**НАДЕЖДА**



# Пролог

## МИСТЕР СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОТИВ СКРУДЖА

Это было худшее из всех времен\*.

Когда в июне 1842 года Чарльз Диккенс вернулся из триумфальной поездки по Америке, где он читал свои произведения со сцены, призрак голода бродил по Англии<sup>1</sup>. После нескольких неурожайных лет цена хлеба удвоилась. Города заполнили толпы обнищавших сельских жителей, жаждавших получить работу или хотя бы милостыню. Текстильная промышленность четвертый год переживала спад, и бывшие фабричные рабочие были вынуждены полагаться на пособия или на благотворительные столовые. Консервативный историк и философ Томас Карлейль с горечью замечал: “когда миллионы лишены возможности жить... совершенно ясно, что сама нация находится на пути к самоубийству”<sup>2</sup>.

Будучи страстным поборником образования, гражданских и религиозных свобод и избирательных прав, Диккенс был напуган ростом классовой ненависти<sup>3</sup>. В августе забастовка на бумагопрядильной фабрике привела к вспышке насилия. В считанные дни столкновение переросло в общенациональную забастовку за всеобщее избирательное право для мужчин, организованную лидерами движения за “Народную хартию”<sup>4</sup>. Его сторонники — чартисты — вынесли на улицы основной лозунг

\* Знаменитое начало романа Ч. Диккенса “Повесть о двух городах”.

радикальных парламентариев — выходцев из среднего класса: “один человек — один голос”. Правительство тори, которое возглавлял премьер-министр Роберт Пил, немедленно направило морских пехотинцев в красных мундирах на поимку агитаторов. Рядовые забастовщики стали расходиться по фабрикам, но Карлейль, чью историю французской революции Диккенс неоднократно перечитывал, мрачно предупреждал: “бунт, зловещий, жаждущий мщения дух бунта против высших классов... получает среди низших классов все большее распространение”<sup>5</sup>.

В блестящих гостиных Лондона, куда Диккенса наперебой приглашала знать, его республиканские симпатии так же бросались в глаза, как и его кричащие галстуки. После их первой встречи Карлейль высокомерно описал знаменитого двадцативосьмилетнего литератора как “человека небольшого роста, весьма скромного” и язвительно добавил, что он был “одет не столько хорошо, сколько в духе Д’Орсэ”, имея в виду, что одевался Диккенс так же вызывающе, как пресловутый *французский* граф<sup>6</sup>. А лучшему другу Карлейля радикальному философу Джону Стюарту Миллю при виде Диккенса вспомнилось сделанное Карлейлем описание якобинца “с мрачным лицом злодея, озаренным гениальностью”<sup>7</sup>. На светских полуночных ужинах чартистский “мятеж” вызывал жаркие споры. Карлейль защищал премьер-министра, который настаивал на принятии жестких мер, чтобы помешать радикалам воспользоваться ситуацией, и утверждал, что истинно нуждающимся уже оказывается помощь. Диккенс, который клялся, что “ценит Карлейля выше всех современников”<sup>8</sup>, тем не менее считал, что благоразумие, равно как и справедливость, требуют от правительства выделения вспомоществования трудоспособным безработным и их семьям.

Голодные сороковые возродили к жизни споры, бушевавшие во время голодного лихолетья наполеоновских войн (1799–1815 годы). В центре внимания была выдвинутая преподобным

Томасом Робертом Мальтусом теория народонаселения, с которой соглашались далеко не все. Современник Джейн Остин и первый в Англии профессор политической экономии, Мальтус был застенчивым и мягкосердечным англиканским священником с заячьей губой и острым, математическим складом ума. Еще будучи викарием, он сочувствовал своей голодающей деревенской пастве. В Библии ответственность возлагалась на врожденную греховность бедных. Модные французские философы, подобно другу его отца маркизу де Кондорсе, клеймили себялюбие богатых. Мальтусу оба объяснения казались неубедительными — он искал иное. Его “Опыт о законе народонаселения”, опубликованный впервые в 1798 году, а потом еще пять раз до его смерти в 1834 году, вдохновил Чарльза Дарвина и других основателей эволюционной теории и побудил Карлейля отвергнуть экономику как “мрачную науку”.

Мальтус пытался объяснить, почему “девять десятых человечества” во все времена, включая его собственное, были осуждены на тяжелый труд и жалкую нищету<sup>10</sup>. Типичный обитатель планеты если и не умирал с голоду, то жил в хроническом страхе перед голодной смертью. Годы бывали более или менее урожайными, одни регионы были беднее, другие — богаче, но средний уровень жизни никогда надолго не поднимался выше уровня выживания.

В попытках ответить на вековой вопрос “Почему?” кроткий священник предвосхитил не только Дарвина, но и Фрейда. Он утверждал, что виной всему секс. То ли наблюдая за убогой жизнью своих прихожан, то ли под влиянием ученых-естественников, начинавших рассматривать человека как животное, то ли после рождения своего седьмого ребенка Мальтус пришел к выводу: стремление к размножению побеждает все остальные человеческие инстинкты и способности, включая здравый смысл, изобретательность, творческое начало и даже веру.

Основываясь на этой смелой предпосылке, Мальтус вывел постулат о том, что человеческие популяции всюду и везде стремятся расти быстрее, чем увеличиваются запасы продо-

вольствия. Доказательство было обманчиво простым: представим себе ситуацию, при которой запасов пищи достаточно, чтобы прокормить имеющееся население. Такое счастливое положение не может сохраняться вечно, как не могли Адам и Ева навечно остаться в раю. Животная страсть побуждает мужчин и женщин вступать в брак раньше и заводить больше детей. В то же время запас пищи более или менее постоянен, если не брать в расчет слишком отдаленную перспективу. В результате запасов зерна и других базовых для данного региона продуктов питания, которых едва хватало для выживания, уже не хватает. Таким образом, Мальтус приходил к неизбежному выводу, что “бедные с течением времени будут жить намного хуже”<sup>11</sup>.

В любом обществе, где компании конкурируют за клиентов, а трудящиеся — за рабочие места, рост населения ведет к увеличению числа семей, борющихся за пропитание, и числа трудящихся, борющихся за рабочие места. Конкуренция приводит к снижению зарплат и одновременно к росту цен на продовольствие. Средний уровень жизни — количество еды и других предметов первой необходимости, доступных каждому — понижается.

В какой-то момент зерно становится таким дорогим, а рабочая сила — такой дешевой, что развитие идет вспять. В результате понижения уровня жизни люди снова вынуждены вступать в брак позже и иметь меньше детей. Сокращение населения приводит к снижению цен на продовольствие по мере того, как все меньше семей борется за еду. Зарплаты начинают расти, поскольку все меньше трудящихся соперничает за рабочие места. В итоге, когда запасы пищи и население вернуться к исходному равновесию, уровень жизни восстановится. Это в том случае, если “великое разрушительное войско”<sup>12</sup> Природы — войны, эпидемии и голод — не ускорит этот процесс, как случилось, например, в XIV веке, когда Великая чума уничтожила миллионы и оставшихся в живых было мало по сравнению с имевшимися запасами продовольствия.



К несчастью, новое равновесие продлится не дольше исходного. “Едва только трудящиеся почувствуют относительную обеспеченность, — печально отмечал Мальтус, — как возобновится это колебательное движение”<sup>13</sup>. Попытки повысить средний уровень жизни напоминают труд Сизифа, поднимающего камень на гору. Чем быстрее взберется Сизиф на вершину, тем быстрее камень будет сброшен вниз.

Попытки победить закон народонаселения были обречены. Те, кто искал зарплату выше рыночной, не могли найти работу. Наниматели, платившие своим рабочим больше, чем их конкуренты платили своим, теряли покупателей, потому что более высокие трудовые затраты вынуждали их повышать цены.

Наиболее неприятным для викторианцев следствием закона Мальтуса было то, что благотворительность, призванная облегчать страдания, могла, оказывается, привести к их увеличению — прямой вызов заповеди Христа “возлюби ближнего, как самого себя”<sup>14</sup>. Сам Мальтус был крайне критично настроен по отношению к традиционной английской системе благотворительности, которая — с некоторыми оговорками — давала пособие бездельникам за счет трудолюбивых. Пособие было пропорционально размеру семьи, что поощряло ранние браки и многодетные семьи. Рассуждение Мальтуса показалось настолько убедительным как консервативным, так и либеральным налогоплательщикам, что в 1834 году парламент — практически без возражений — принял новый Закон о бедных, согласно которому государственные пособия выделялись только тем, кто соглашался переселиться в работные дома при церковных приходах.

“Простите, сэр, я хочу еще”. Как обнаружил Оливер Твист после своей знаменитой просьбы, работные дома по существу представляли собой тюрьмы, где мужчины и женщины жили отдельно, выполняя неприятную принудительную работу и соблюдая жесткую дисциплину, и получали взамен место для ночлега и “три порции жидкой каши в день, луковицу дважды в неделю и половину булочки по воскресеньям”<sup>15</sup>. Возможно,

в большинстве работных домов рацион не был таким скудным, как описано в романе Диккенса, однако нет сомнений, что именно к этим учреждениям у рабочего класса было больше всего претензий<sup>16</sup>. Как и большинство реформаторски настроенных либеральных представителей среднего класса, Диккенс считал новый Закон о бедных отвратительным с точки зрения морали и самоубийственным с точки зрения политики, а теорию, на которой он базировался, — варварским пережитком прошлого. Диккенс только что вернулся из Америки, “где еще не заселены и не расчищены миллионы акров земли” и где жители “трижды в день наспех проглатывают в большом количестве животную пищу”<sup>17</sup>, и находил нелепой мысль о том, что упразднение работных домов приведет к нехватке продовольствия в мире.

Стремясь внести свой вклад в защиту бедных, Диккенс в начале 1843 года начал писать историю о духовном перерождении богатого скряги. Эту историю Диккенс представлял себе в роли кувалды, удар которой в “двадцать раз — в двадцать тысяч раз” сильнее удара политического памфлета<sup>18</sup>.

По мнению экономического историка Джеймса Хендерсона, “Рождественская песнь” — это атака на Мальтуса<sup>19</sup>. Роман насыщен всяческими деликатесами, их запахами и вкусом. Англия Диккенса — это не каменистый, малоплодородный, перенаселенный остров, где людям не хватает еды, а форменный гастроном “Фортнум и Мейсон”, где полки ломаются от припасов, закрома бездонны, а бочки никогда не осушаются. Святочный Дух Прошлых Лет восседает перед Скруджем на некоем “подобии трона”, в которое “были сложены жареные индейки, гуси, куры, дичь, свиные окорока, большие куски говядины, молочные поросята, гирлянды сосисок, жареные пирожки, плумпудинги, бочонки с устрицами, горячие каштаны, румяные яблоки, сочные апельсины, ароматные груши, громадные пироги с ливером и дымящиеся чаши с пуншем, душистые

пары которого стлались в воздухе, словно туман”. Сияющие бакалейщики, продавцы птицы, фруктов и овощей зазывали лондонцев в свои лавки насладиться ароматным изобилием еды и напитков<sup>20</sup>.

В Англии, демонстрирующей скорее изобилие Нового Света, чем скудность Старого, костлявый, ссохшийся, бездетный Эбинизер Скрудж выглядит анахронизмом. Как отмечает Хендерсон, коммерсанту “были так же чужды современные гуманистические настроения, как и изобилие, которое его окружало”<sup>21</sup>. Он — твердолобый сторонник каторжной работы и работных домов, как в прямом, так и в переносном смысле. “Они недешево обходятся, — настаивает он. — Нуждающиеся могут обращаться туда”. Когда Святочный Дух Прошлых Лет возражает: “не все это могут, а иные и не хотят — скорее умрут”, Скрудж холодно отвечает: “если они предпочитают умирать, тем лучше. Это сократит излишек населения”.

К счастью, суровая натура Скруджа оказалась не более неизменной, чем мировые запасы продовольствия. Когда Скрудж узнает, что Малютка Тим входит в эти самые “излишки населения”, он в ужасе отшатывается от следствий своей старомодной мальтузианской религии. “Нет, нет!” — восклицает он и просит Духа пощадить ребенка. “Что за беда? — издевательски откликается Дух. — Если ему суждено умереть, пускай себе умирает и тем сократит излишек населения!”<sup>22</sup> Скрудж раскаивается, решает повысить жалованье своему многострадальному клерку Бобу Крэтчиту и посылает ему в подарок на Рождество индейку. Сумев вовремя принять более оптимистичную и менее фаталистическую точку зрения поколения Диккенса и изменить будущее, Скрудж опровергает мрачные предсказания Мальтуса о том, что “слепому и безжалостному прошлому” суждено вечно воспроизводить себя.

Счастливым рождественский ужин Крэтчита есть прямой ответ Диккенса Мальтусу, который использует метафору “великого пиршества природы”, чтобы предупредить о нежелательных последствиях благотворительности. Человек без средств

к существованию просит сидящих за столом дать место и ему. В былые времена собравшиеся прогнали бы его. Введенные в заблуждение французскими утопистами, они решают игнорировать тот факт, что пищи за столом достаточно только для званых. Приглашая вошедшего присоединиться к ним, они не могут предвидеть, что появятся и новые незваные гости, что еда закончится прежде, чем все ее получат, и что для приглашенных гостей удовольствие от трапезы будет “испорчено зрелищем несчастья и унижения”<sup>23</sup>.

Ломящийся от угощений стол в доме Крэтчитов, окруженный сияющими лицами домочадцев, служит антитезой скудной трапезе Мальтуса. Жалким порциям Природы противопоставляется пудинг миссис Крэтчит — “такой необычайно твердый и крепкий, что он более всего похож на рябое пушечное ядро. Пудинг охвачен со всех сторон пламенем от горящего рома и украшен рождественской веткой остролиста, воткнутой в самую его верхушку” — кому-то он мог показаться недостаточно большим, но для ее семьи был в самый раз. “Миссис Крэтчит заявила, что теперь у нее на сердце полегчало, и она может признаться, как грызло ее беспокойство — хватит ли муки. У каждого было что сказать во славу пудинга, но никому и в голову не пришло не только сказать, но хотя бы подумать, что это был очень маленький пудинг для такого большого семейства. Это было бы просто кощунством. Да каждый из Крэтчитов сгорел бы со стыда, если бы позволил себе подобный намек”<sup>24</sup>.

Рождественский дух был заразителен. К концу рассказа Скрудж даже сам перестал голодать. Вместо того чтобы как обычно выхлебать свою миску каши в одиночестве, Скрудж изумляет племянника своим неожиданным появлением на рождественском ужине. Не стоит и говорить о том, что его наследник спешит выделить ему место за столом.

Надежда Диккенса на то, что “Рождественская песнь” ударит по читателям, как кувалда, сбылась. За время, прошедшее со дня первой публикации рассказа — 19 декабря, — до ро-

ждественского сочельника было распродано шесть тысяч экземпляров, книга печаталась до самого конца жизни Диккенса и после его смерти<sup>25</sup>. Изображения бедных принесли Диккенсу иронические прозвища, вроде “Мистер Сентиментальный”<sup>26</sup>, но писатель никогда не колебался в своем убеждении, что жизнь бедных можно существенно улучшить, не разрушая существующего общества.

Диккенс был слишком деловым человеком, чтобы не понимать, что за успешное совершенствование общества нужно чем-то платить. Он не был противником промышленной революции — он просто был “чистым модернизатором” и “верил в Прогресс”. Преуспев в раннем возрасте (ему не было и тридцати!) и только за счет собственного таланта, он был уверен, что предприимчивость — ключ к успеху. Диккенс спасся от бедности, проложив путь в недавно возникшую отрасль СМИ, и его раздражали консерваторы вроде Карлейля и социалисты вроде Милля, которые отказывались признать, что общество “медленно и болезненно, с большим трудом преодолело упадок и невежество”, и “оглядывались на слепое и безжалостное прошлое с тем восхищением, в котором они отказывали настоящему”<sup>27</sup>.

Ощущение Диккенса, что английское общество просыпается как после долгого кошмара, оказалось пророческим. Не прошло и года после “мятежа” чартистов, а новые настроения терпимости и оптимизма уже стали явными. Премьер-министр от партии тори в частной беседе признал, что многие жалобы чартистов оказались обоснованными<sup>28</sup>. Лидеры рабочих отвергли призывы к классовой войне и встали на сторону работодателей, стремившихся отменить таможенные пошлины на ввоз зерна и других продуктов питания. Либеральные политики откликнулись на требования парламентских комиссий по детскому труду, несчастным случаям на производстве и другим недостаткам принятием фабричного законодательства 1844 года, которое регулировало продолжительность женского и детского рабочего дня.

Диккенс не воображал, что мир может перестать считать деньги и обойтись вообще без экономической науки. Он лишь надеялся переубедить политэкономистов — подобно тому, как Дух Будущих Святков переубедил Скруджа. Он хотел, чтобы они перестали рассматривать бедность как естественный феномен, отрицая роль идей и намерений или полагая бесспорным, что интересы разных классов диаметрально противоположны. Особенно важным Диккенс считал необходимость для политэкономистов “исповедовать взаимопонимание, терпимость и сочувствие; нечто, что трудно выразить цифрами”<sup>29</sup>. Он начал выпускать популярный еженедельник “Домашнее чтение”, надеясь убедить экономистов “очеловечить” их науку. Как он писал во вступительной статье, “политическая экономия — это лишь скелет, который нужно обрести плотью и придать ему человеческий облик; немного человеческой живости сверху и чуть человеческой теплоты внутри”<sup>30</sup>.

Диккенс был не одинок. И в Лондоне, и в разных уголках мира другие люди тоже приходили к этим выводам. Сумев преодолеть выпавшие на их долю невзгоды, они тоже воспринимали человека как порождение обстоятельств. Они тоже осознавали, что материальные условия жизни “девяти десятых человечества” уже не были неизменными, predetermined, “слепым и безжалостным прошлым” и неподконтрольными человеку. Убежденные в том, что экономические обстоятельства подвластны человеку, но скептически настроенные по отношению к утопическим схемам и “искусственным обществам”, изобретаемым радикальными элитами, они посвятили себя разработке “аналитического механизма”<sup>31</sup> (или, как позже назвал это другой экономист, “мыслительного аппарата”)<sup>32</sup>, с помощью которого можно было бы понять, как устроен современный мир и как можно улучшить материальные условия человечества, а тем самым и его моральное, эмоциональное, интеллектуальное и творческое состояние.

## Глава I

### ВСЕ ТОЛЬКО ЗАРОЖДАЕТСЯ: ЭНГЕЛЬС И МАРКС В ЭПОХУ ЧУДЕС

На самом деле это началось не так уж давно. Все только зарождается... Какой бы странной и необычной ни казалась наша система, она вполне надежна... если мы хотим с ней работать, ее нужно изучать.

Уолтер Бэджет,  
*Ломбард-стрит*<sup>1</sup>

“Постарайся только, чтобы собранные тобой материалы скорее увидели свет, — писал двадцатитрехлетний Фридрих Энгельс своему революционному соратнику Карлу Марксу. — Давно уже пора сделать это. Итак, надо приниматься энергично за работу и скорее печатать!”<sup>2</sup>

В октябре 1844 года континентальная Европа представляла собой дымящийся вулкан, в любой момент готовый к извержению. Маркс, зять прусского аристократа и редактор радикального философского журнала, в то время был в Париже, где ему полагалось писать экономический трактат, с математической точностью доказывающий неизбежность революции. Энгельс, потомок рейнских текстильных купцов, жил в своем фамильном имении, погруженный с головой в английские газеты и книги. Он составлял проект “окончательного приговора” тому самому классу, к которому они с Марксом принадлежали<sup>3</sup>.

Его беспокоило только одно: что революция начнется прежде, чем он закончит рукопись.

Романтический бунтарь с литературными наклонностями, Энгельс был “революционером в душе” и “восторженным коммунистом” уже тогда, когда два года назад впервые встретился с Марксом. Потратив юность на освобождение от строгого кальвинизма своей семьи, стройный, белокурый и чудовищно близорукий артиллерист Прусского королевства был нацелен на борьбу с двумя тиранами — Богом и Мамоной. Убеденный в том, что корнем всех бед является частная собственность и что только социальная революция ведет к справедливому обществу, Энгельс мечтал о “подлинной” жизни философа. Однако, к его бесконечному сожалению, ему было предназначено заниматься семейной торговлей. “Я вовсе не доктор”, — поправил он состоятельного издателя радикальной газеты, который принял его за ученого. И добавил: “и никогда не смогу им стать. Я всего лишь купец”<sup>4</sup>.

Иного быть не могло: на пути к научной карьере стоял Энгельс-старший, фанатичный сторонник евангелической церкви, постоянно конфликтовавший со своим свободомыслящим сыном. Как собственник он был вполне прогрессивен. Он был сторонником свободной торговли, установил на своей фабрике в Вуппертале новейшее ткацкое оборудование из Британии и открыл вторую фабрику в Манчестере — Кремниевой долине времен промышленной революции. Но как отец он не мог примириться с мыслью о том, что его старший сын и наследник стал журналистом и профессиональным агитатором. Когда весной 1842 года в мировой хлопчатобумажной торговле разразился кризис, за которым последовали стачки чартистов, он потребовал, чтобы сразу после окончания обязательной военной службы сын поступил на работу в компанию “Эрмен энд Энгельс” в Манчестере.

Подчинившись сыновнему долгу, Энгельс, однако, не отказался от борьбы с властями на всех уровнях. Манчестер был знаменит воинственностью своих фабричных рабочих. Убеж-



денный в том, что производственные конфликты являются прелюдией к полномасштабному восстанию, Энгельс с радостью отправился в гущу событий, рассчитывая на взлет своей литературной карьеры.

В ноябре по дороге в Англию он заехал в Кельн и посетил обшарпанное помещение продемократической “Рейнской газеты”, для которой время от времени писал статьи за подписью “X”. Там он познакомился с новым редактором — крайне близоруким и резким философом из Трира, завзятым курильщиком сигар, который обошелся с ним довольно грубо. Энгельс не обиделся и получил поручение писать о перспективах революции в Англии.



Когда Энгельс приехал в Манчестер, всеобщая стачка была уже подавлена и войска вернулись в лондонские казармы, но по улицам слонялись безработные и многие фабрики по-прежнему простаивали. Энгельс был убежден, что хозяева фабрик скорее позволят рабочим голодать, чем станут оплачивать прожиточный минимум, но при этом не мог не заметить, что английские фабричные рабочие питались намного лучше, чем немецкие. В то время как на принадлежавшей его семье текстильной фабрике в Бармене рабочий питался почти исключительно хлебом и картошкой, “здесь он каждый день ест говядину и получает за свои деньги лучшее жаркое, чем богач в Германии. Два раза в день он пьет чай, и у него всегда еще остается достаточно денег на то, чтобы за обедом выпить стакан портера, а вечером — грога”<sup>5</sup>.

Конечно, уволенные с предприятий хлопчатобумажной отрасли рабочие были вынуждены, чтобы не умереть с голоду, обращаться к Закону о бедных и питаться в благотворительных столовых, а в только что опубликованном Эдвином Чедвиком “Докладе о санитарном состоянии трудящегося населения Ве-

ликобритании” говорилось, что средняя продолжительность жизни для мужчин составляла в Манчестере 17 лет — в два раза меньше, чем в окрестных деревнях, и что половина родившихся здесь детей умирала в первые пять лет своей жизни. Его красочные описания улиц, служивших сточными канавами, мокрых от плесени домов, гнилой пищи и повсеместного пьянства ярко свидетельствовали о том, что у британских рабочих были серьезные основания для недовольства<sup>6</sup>. Но в то время как Карлейль — единственный британец, которым Энгельс восхищался — предсказывал бунт рабочего класса, Энгельс нашел, что большинство представителей английского среднего класса считали такую возможность маловероятной и смотрели в будущее с “поразительным спокойствием и уверенностью”<sup>7</sup>.

Обосновавшись на новом месте, Энгельс разрешил конфликт между требованиями семьи и своими революционными взглядами в типично викторианском духе. Он жил двойной жизнью. На работе и среди других капиталистов он напоминал “живого, приятного, веселого” Фрэнка Чирибля, “племянника фирмы” из диккенсовского “Николаса Никльби”, который приехал, чтобы “вступить компаньоном в дело” после того, как “четыре года руководил делами фирмы в Германии”<sup>8</sup>. Как и молодой и привлекательный предприниматель из романа, Энгельс безупречно одевался, был членом нескольких клубов, давал хорошие обеды и держал собственную лошадь, чтобы иметь возможность охотиться на лисиц в поместьях друзей. В своей другой — “настоящей” — жизни он “оставил общество и званные обеды, портвейн и шампанское”, чтобы посвятить свой досуг чартистской деятельности и журналистским расследованиям<sup>9</sup>. Вдохновленный разоблачениями английских реформаторов и часто сопровождаемый своей любовницей, неграмотной фабричной работницей из Ирландии, Энгельс проводил свободное время, стараясь поближе узнать Манчестер “как свой родной город”, собирая материал для ярких колонок и эссе, которые он печатал в разных радикальных газетах.

Проработав в Англии 21 месяц в качестве стажера-управляющего, Энгельс открыл для себя экономику. В то время как немецкие интеллектуалы были увлечены религией, английские, казалось, сводили любой политический или культурный вопрос к экономике. Это было особенно верно в отношении Манчестера — оплота английской политэкономии, либеральной партии и “Лиги против хлебных законов”<sup>\*</sup>. Для Энгельса этот город символизировал симбиоз промышленной революции, воинственности рабочего класса и политики невмешательства государства в экономику (*laissez-faire*). Как он вспоминал позднее, здесь он, “что называется, носом ткнулся в то, что экономические факторы, которые до сих пор в исторических сочинениях не играют никакой роли или играют жалкую роль, представляют, по крайней мере для современного мира, решающую историческую силу”<sup>10</sup>.

Отсутствие университетского образования — и в особенности то, что он не был знаком с трудами Адама Смита, Томаса Мальтуса, Давида Рикардо и других британских политэкономистов — расстраивало Энгельса, но не мешало ему считать, что британская экономическая теория в корне ошибочна. В одном из последних написанных перед отъездом из Англии эссе он наспех набросал основные тезисы альтернативной теории. Эти ученические опыты он скромно назвал “Наброски к критике политической экономии”<sup>11</sup>.

По другую сторону Ла-Манша, в богатейшем пригороде Парижа Сен-Жермен-ан-Ле, Карл Маркс был полностью погружен в историю Французской революции. Но, получив по почте статью Энгельса, он резко вернулся к современности — эти “гениальные наброски к критике экономических категорий”<sup>12</sup> привели его в большое возбуждение.

\* “Лига против хлебных законов” — созданное в 1838 году в Англии общество, которое стремилось к отмене хлебных пошлин и установлению полной свободы торговли.

Маркс тоже был расточительным (и распутным) сыном буржуазного отца. Он тоже был интеллектуалом, сопротивлявшимся обывательскому миру. Он разделял мнение Энгельса об интеллектуальном и культурном превосходстве немцев, восхищался всем французским и негодовал по поводу британского богатства и могущества. Однако во многих отношениях он был прямой противоположностью Энгельса. Властный, импульсивный, увлеченный и хорошо образованный, Маркс был лишен легкости, гибкости и светскости, присущих Энгельсу. Он был всего на два с половиной года старше Энгельса, но уже успел жениться, завести дочь и стать доктором философии (причем настаивал, чтобы именно так к нему и обращались). Невысокий, коренастый, с почти наполеоновским телосложением, он был покрыт жесткими угольно-черными волосами, которые росли на щеках, руках, в носу и ушах. Его “глаза светились умом и злобным огнем”, и, как вспоминает его помощник по “Рейнской газете”, он любил начинать разговор словами “сейчас я вас уничтожу”<sup>13</sup>. Один из его биографов, Исайя Берлин, полагал, что “вера Маркса в себя и в свои силы” была его “самой выдающейся характеристикой”<sup>14</sup>.

В отличие от практичного, обладавшего деловой хваткой Энгельса Маркс, как отмечал Бернад Шои, “не имел ни административного опыта”, ни “деловых отношений с кем бы то ни было”<sup>15</sup>. Он был, бесспорно, талантлив и эрудирован, но полностью лишен свойственного Энгельсу трудолюбия. В то время как Энгельс готов был в любое время суток засучить рукава и начать писать, Маркса скорее можно было найти в кафе, где он пил вино и спорил с русскими аристократами, немецкими поэтами и французскими социалистами. Один из его покровителей писал: “он много читает. Он работает с необычайной интенсивностью... Он никогда ничего не заканчивает. Он поминутно прерывает исследования, чтобы окунуться в свежий океан книг... Он вспыльчив и резок как никогда, особенно после того, как заработался до болезненного состояния и в конце не спал три-четыре ночи подряд”<sup>16</sup>.

Маркс был вынужден заняться журналистикой после того, как ему не удалось получить должность в немецком университете, а его многострадальная семья наконец отказала ему в финансовой поддержке<sup>17</sup>. Проработав всего полгода в кельнской газете (“здесь сам воздух превращает тебя в раба”), он вступил в схватку с прусским цензором и уволился. К счастью, Марксу удалось уговорить состоятельного социалиста начать финансировать новый философский журнал “Немецко-французский ежегодник” и назначить самого Маркса руководителем издания в его любимом городе — Париже.

Манчестерские репортажи Энгельса, в которых подчеркивалась связь между экономическими причинами и политическими следствиями, произвели на Маркса сильное впечатление. До этого он не был знаком с экономикой. Словам *пролетариат*, *рабочий класс*, *материальные условия* и *политическая экономия* еще предстояло появиться в его переписке. Как видно из его письма к покровителю, он мечтал об объединении всех “врагов филистерства, т. е. всех тех, кто мыслит и страдает”, но ставил своей целью преобразование сознания, а не отмену частной собственности. Из его статьи в первом и единственном выпуске “Немецко-французского ежегодника” видно, что Маркс планировал метать во власть критические стрелы, а не булыжники: “Каждый вынужден признаться себе самому, что не имеет точного представления о том, каково должно быть будущее. Между тем преимущество нового направления как раз в том и заключается, что мы не стремимся догматически предвосхитить будущее, а желаем только посредством критики старого мира найти новый мир”.

И далее: “мы просто покажем миру, почему он находится в таком бедственном положении... Нашей программой должна стать реформа сознания... уяснение смысла собственной борьбы и собственных желаний”. Роль философа была аналогична роли священника: “речь идет об *исповеди*, не больше. Чтобы очиститься от своих грехов, человечеству нужно только объявить их тем, чем они являются на самом деле”.

Маркс и Энгельс впервые по-настоящему познакомились в августе 1844 года в “Кафе де ля Режанс”. Возвращаясь в Германию, Энгельс специально остановился в Париже, чтобы снова встретиться с человеком, который так резко обошелся с ним в прошлый раз. Десять дней напролет они разговаривали, спорили, пили, снова и снова обнаруживая, что думают одинаково. Маркс разделял убежденность Энгельса и в том, что реформировать современное общество совершенно невозможно, и в том, что необходимо освободить Германию от Бога и традиционной власти. Энгельс познакомил его с понятием пролетариата. Маркс немедленно почувствовал свою принадлежность к этому классу. Он относил к пролетариату не только — как можно было ожидать — *“стихийно сложившуюся бедность”*, но и *“искусственно созданную бедность, ... возникшую из стремительного процесса его [общества] разложения”*<sup>18</sup> — аристократов, потерявших свои земли, обанкротившихся предпринимателей и безработных ученых.

Подобно Карлейлю и Энгельсу, Маркс считал голод и мятежные настроения доказательством того, что буржуазия неспособна к управлению. Он предсказывал, что “категорический императив” заставит пролетариат свергнуть эксплуататоров<sup>19</sup>. Уничтожив частную собственность, пролетариат освободит не только себя, но и общество в целом. По мнению историка Гертруды Гиммельфарб, Энгельс и Маркс были далеко не единственными викторианцами, убежденными, что современное им общество смертельно больно<sup>20</sup>. Однако от Карлейля и других социальных критиков их отличала уверенность в неизбежности гибели существовавшего общественного порядка. Несмотря на свое стремление освободиться от протестантских догм, они считали, что предсказываемый ими экономический крах и насильственная революция, так сказать, предопределены — их нельзя избежать. Если предупреждение Карлейля о грядущем конце света было призвано вызвать раскаяние и привести к реформам, то предупреждение двух молодых немцев должно было

побудить читателей присоединиться к будущим победителям, пока не стало слишком поздно.

В написанной в 1844 году работе “Положение рабочего класса в Англии” Энгельс очень наглядно, хотя и не всегда корректно, показывает, что английский промышленный пролетариат обычно ведет полуголодное существование и что в 1842 году именно голод толкнул его на насилие против владельцев фабрик. Однако в этом журналистском исследовании ему не удалось доказать, что жалкое состояние рабочих неизбежно и что не существует иного выхода, кроме разрушения английского общества и установления диктатуры чартистов. Это был спор, в котором Энгельс постоянно проигрывал своим английским знакомым, и эту проблему он предлагал решить Марксу. Он объяснял Марксу, что в Англии социальные и моральные проблемы сведены к экономическим и что социальные критики вынуждены бороться с *экономической* реальностью. Подобно последователям немецкого философа Георга Гегеля, которые использовали религию для свержения самой религии с пьедестала и демонстрации лживости правящей элиты Германии, им придется использовать принципы политической экономии для уничтожения ненавистной английской “религии денег”.

Расставшись с новым другом, Энгельс направился домой, в Германию, чтобы выдвинуть свои обвинения “в массовых убийствах, грабежах и других преступлениях” в адрес английской буржуазии (имея в виду и немецкую тоже)<sup>21</sup>. Работа на семейной хлопкопрядильной фабрике убедила Энгельса в гнусности торговли<sup>22</sup>. Ему “никогда не приходилось наблюдать класса более глубоко деморализованного, более безнадежно испорченного своекорыстием, более разложившегося внутренне и менее способного к какому бы то ни было прогрессу, чем английская буржуазия”. Эти “торгаши”, как называет он манчестерскую буржуазию, истово поклоняются “политической экономии, науке о способах наживать деньги”, оставаясь

абсолютно равнодушными к бедствиям рабочих до тех пор, пока рабочие приносят прибыль — любые человеческие ценности, кроме денег, им совершенно безразличны. “Торгашеский дух” английских высших классов вызывает такое же отвращение, что и “фарисейская благотворительность”, которую оказывают бедняку, “высосав из него последние соки”. Поскольку английское общество все более явно “расслаивается на имущих и неимущих”, неизбежная “война бедных против богатых” будет “более кровавой, чем все ей предшествовавшие”<sup>23</sup>. Перо Энгельса было таким же бойким, как его язык — он закончил рукопись меньше чем за три месяца.

Энгельс постоянно уговаривал Маркса: “постарайся скорее кончить свою книгу по политической экономии... Важно, чтобы книга появилась как можно скорее”<sup>24</sup>. Его собственная книга “Положение рабочего класса в Англии” была опубликована в Лейпциге в июле 1845 года. Она удостоилась положительных рецензий и хорошо распродавалась даже до того, как разразившийся экономический и политический кризис — который по прогнозу автора должен был случиться в “1846 или 1847” году — придал ей дополнительный ореол сбывшегося пророчества. На создание “Капитала”, грандиозного труда Маркса, в котором он обещал раскрыть “закон движения современного общества”, ушло на двадцать лет больше<sup>25</sup>.

Когда в 1849 году Генри Мейхью, корреспондент “Лондон морнинг кроникл”, поднялся на Золотую галерею собора Св. Павла, чтобы посмотреть на родной город с высоты птичьего полета, он обнаружил, что “невозможно понять, где кончается небо и начинается город”<sup>26</sup>. Каждые десять лет город расширился примерно на 20% — его рост, “похоже, не подчинился ни одному известному закону”<sup>27</sup>. К середине столетия его население выросло до двух с половиной миллионов. Жителей Лондона с лихвой хватило бы для заселения двух Парижей, пяти Вен или сразу восьми следующих по величине городов Англии<sup>28</sup>.